



## БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ

[Феерия]

*Истин, теней истин, — сказал Фальтер, — на свете так мало, — а те, что налицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа — явление мало знакомое, мало изученное.*

*Вл. НАБОКОВ. Ultima Thule.*

*С той стороны зеркального стекла...*

*Арс. ТАРКОВСКИЙ*

*...ТУТ-ТО И ВОЗНИК ВАГОН...*

От трамвайного пути вбок уходил отросток непонятного назначения. Рельсы были ржавые, давно необитаемые, метров десять они ещё виднелись, стиснутые асфальтом, дальше — терялись в клочьях рыжей, мёртвой травы и лишь предположительно угадывались в ней, пока не упирались в осевшую кирпичную ограду тоже неизвестно для чего созданную, за которой начинались овраги, заросшие бессмертным чертополохом и чахлым березняком.

Сначала Линёв не удивился и даже не обратил на него внимания. Странно, конечно, что в городе, на трамвайных рельсах стоит и стоит железнодорожный вагон, но — чего нынче не случается. Он даже вспомнил, что когда-то невероятно давно, в бесхитростном детстве, примерно так он представлял себе Край земли: пустые рельсы, кирпичная стена. А за нею — овраг, которому нет конца...

Это был, похоже, очень древний вагон: краска облезла, окна были непроницаемо грязные, некоторые были выбиты и из ощеренных, зубастых пробоев незримо струился дух ржавчины и запустения.

Линёв хотел было отвернуться да и забыть это чудное вагонное недоразумение. Слава богу, было над чем поломать голову, но тут он заметил, что в крайнем окне, где, верно, когда-то находилось купе проводников, горит свет, неровное, колышущееся свечение, не то свеча, не то лампада, пульсирующая середка жизни. Линёв подошёл ближе, привстал на цыпочки и попытался заглянуть, прислушался. Огонёк, будто почув чужого, вздрогнул и заметался. Так ничего не разглядев, Линёв отошёл.

Огонёк разгорелся сильнее, обозначив на осклизлом асфальте мечущийся, бледно-жёлтый квадратик света.

\* \* \*

В этом странном местечке, на перекрестье трамвайного пути и рельсового аппендикса Линёв торчал уже полчаса. Стоял сырой апрельский вечер, в воздухе роилась мелкая водяная сыпь, которая не то падала сверху, не то поднималась снизу.



Линёв думал о Кларе, с которой должен был встретиться (почему именно здесь — бог весть), и которая явно запаздывала, и ясно было, что уже не придёт. С Кларой всегда так: чем решительней предполагался разговор, тем меньше надежд, что он состоится.

Клара вошла (она представлялась не иначе как Кларисса) в его жизнь примерно год назад, быстро и легко оседлала покорившегося Линёва, перессорилась с его соседями, расшугала всех его приятелей, оставив лишь Карима и Яшку, самых непоколебимых и древних.

Вместе с Кларой на Линёва обрушилась лавина её подружек, сослуживиц, одноклассников и знакомых с их проблемами и капризами, болячками и хворобами,

комплексами и скандалами, флиртами и адюльтерами. Линёв сбился со счета, путал их имена. Одна вышла замуж и укатила в Англию и теперь на связь не выходит, поганка. Что она там себе думает, что, ей, Клариссе, нужны её шивные английские тряпки, а ей ничегошеньки и не нужно, и пусть она теперь подавится там своей овсянкой с грудинкой. Другая занималась йогой и вывихнула колено и теперь оно у неё вывихивается во время секса. Третью, завкафедрой общей психологии, дочь застучала дома на диване с первокурсником, и теперь эта сучка-малолетка тянет из неё деньги. Четвёртая бросила институт, в который поступила с третьего захода, и ушла, чумичка, солисткой в рок-группу «Резиновые еноты», но ихний руководитель, мудака, взял вторую солистку, безголосую дрянь с сиськами, и та её выпихнула на бэк вокал. Пятая три месяца окучивала какого-то важного банкира, заполучила его, и вскоре после загса узнала, что банкир тот вовсе не банкир, а всего-то изношенный альфонс, к тому же закодированный алкоголик, и теперь не может от него отделаться, потому что подмахнула не глядя какую-то дурацкую бумажку.

Линёв, не обладавший пробивными способностями, бегал, что-то доставал, выбивал, качал права, нарывался на неприятности.

\* \* \*

Чёртов вагон с огоньком в окне почему-то не выходил из головы. Линёв дошёл до трамвайной остановки, стараясь не думать ни о Кларе, ни, тем более, о вагоне, и это ему почти удалось. Но когда новенький, пахнущий заводской краской трамвай раскрыл перед ним двери, он повернулся к нему спиной и, сохраняя полное безмыслие, зашагал прочь от обиженно фыркнувшего трамвая туда, к посверкивавшим из-под травы рельсам, к гнилому отростку, к туманному вагонному наваждению. Будто кто-то шепнул ему: иди! Иначе всю жизнь потом жалеть будешь. Тьфу, цыганщина какая-то...

Чертыхаясь и внутренне издеваясь над собой, он взобрался на решётчатые ступени, толкнул легко отворившуюся дверь и вошёл в тамбур. Там было тесно, в углу громоздились какие-то отсыревшие бумажные тюки. Линёв легонько пнул один из них и оттуда что-то еле слышно посыпалось — не то цемент, не то мука. Это почему-то успокоило и он пошёл дальше.

Вагон был, вроде, купейным. Некоторые дверцы были открыты и там царили запустение и хаос — вывороченные полки, битое стекло, обрывки газет. Над одним из обрывков он нагнулся и прочитал название — «Полнолуние Любви». Линёв усмехнулся, покачал головой пошёл дальше. В середине коридора возвышалась куча бумажного мусора. Линёв брезгливо перешагнул через неё, оттуда что-то порскнуло, запищало и сразу же в ответ завозилось что-то совсем рядом, визгнуло гнусавой фистулой. Он торопливо шагнул дальше, лицо мерзко щекотнула сырая паутина. Линёв выругался, конвульсивно смахнул пыльную труху, больно ударился пальцами об отвисшую челюсть разбитого потолочного светильника.

Линёв перевёл дух, чиркнул зажигалкой. Светлее от этого не стало, но стало спокойнее. «Вот так дураков надо учить», — подумал он, подходя, наконец, к купе проводников. «Дур-рак. Цир-рк. Кар-цер!» — отозвалось под ногами хрустнувшее стекло. Подойдя к двери, он прислушался — ничего не слышать. Дверь была закрыта. Вот и всё. Жгучая тайна раскрыта, юные следопыты возвращаются домой, в пыли, дерьме и паутине. Он досадливо плюнул, толкнул на всякий случай плечом дверь, заорав дурашливо: «Неу Жу-уде!!!» Голос громыхнул по коридору, дверь подалась, и поражённый Линёв влетел в купе.

В купе было двое. Девушка в синей куртке с белым меховым воротником и в таком же синем берете с ребристыми ромбиками и юноша в демисезонном пальто с зябко поднятым воротником. Они сидели напротив друг друга, и на столике между ними, на крохотном латунном примусе пыхтел закипающий стеклянный чайничек.

Они сидели друг против друга, но как бы порознь. Не соприкасаясь взглядами. Словно в разных прозрачных плоскостях.

— Здравствуйте, — сказал Линёв, потрясённо улыбаясь, — вот и проводники.

— Ну да, — рассмеялась в ответ девушка. — Можно и так сказать. Садитесь, сейчас будет чай. Вы с чем предпочитаете?

В её взгляде, открытом и пристальном не было ни удивления, ни опаски. Лишь, как будто, скрытое за весёлым радушием ожидание чего-то. Ему вдруг показалось, что она ожидала его появления, и теперь не знает, как себя вести. «Ответа не взыскующая речь», — вспомнилось ему вдруг...

— Вообще-то я предпочитаю веганский мармелад, крем-брюле с ромом или уж по крайней мере сливочный пудинг, — брякнул как бы в шутку.

— Этого нет, — огорчённо покачала головой девушка, — но зато есть сахар и карамельки-подушечки. А?

— Так это ж вообще моя тайная слабость, — признался Линёв, усаживаясь поудобнее. — Кстати, о подушечках. Куда идёт наш экспресс и у кого получать постельное бельё?

— Это сложный вопрос, — вдруг серьёзно ответила девушка, внимательно глянув на него большими серовато-зелёными глазами. — Наверяд ли вам *туда* нужно. Так вы будете пить чай?

— Но я, наверное, вам помешаю?

— Не мешаете, — блёкло отозвался юноша, отвернулся к окну и зевнул. Широко, протяжно, с каким-то собачьим писком. — Хотя...

Он вдруг замолчал, снова зевнул, так же, по-собачьи, и впервые глянул на девушку кривым, вопросительным взглядом.

Почему-то он показался неприятным. Спутанные, клочковатые пепельного цвета волосы курчавым колтуном, отвислая, бледно-розовая верхняя губа, прикрытая реденьким рыжеватым пушком. Голос тихий и слегка гнусоватый — то ли насморк, то ли полипы. Говорит тихо, и как-то уж слишком правильно, отчётливо выговаривая слова. Так говорят в совершенстве овладевшие *чужим* языком. И чай шумно прихлёбывается и сглатывается, причмокивая. Намеренно что ли? И глядит в упор, не отрываясь. А глаза — бесцветная, беззрачковая муть, просто белёсая выпуклость. Как гашёная известь. *Недобро*. Спокойное, выдержанное, даже беззлобное. Но — недобро. Странно, однако, отчего они рядом?..

— Вы недоговорили. Что — хотя? Просто интересно.

— Интересно? — юноша отрывисто хохотнул. — Это хорошо. Мне просто показалось, вы ошиблись купе. Вам, собственно, — туда, — он оттопыренным мизинцем ткнул в пространство перед собой. — Там, на той стороне, есть другое купе. И вот там, именно там вы найдёте ответы на все вопросы, которые вас так мучают. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи...

— С чего вы решили, что меня что-то мучает?

— А что тут решать? Вас тут всех что-то непременно мучает. В этом суть. Если вас ничего не будет мучить, вы все попросту вымрете, ибо жизнь лишится главного смысла...

Он, вновь умиrotворяюще хохотнул, довольный своей шуткой, вероятно, что-то хотел добавить ещё, но в этот момент что-то как будто произошло: девушка широко распахнула веки, зябко повела плечами и что-то как будто произнесла беззвучно, одним лицом: «У-а-и». «Уходи»?

— Тогда, если позволите, я выпью, — радостно выпалил Линёв. — Отсырел, знаете ли на ветру.

— Позволим, конечно, позволим, — оживлённо засуетилась девушка, достала стакан с подстаканником и высыпала на чистую бумажную салфетку горку пузатых подушечек.

— Вам — первому, — сказала она, наливая Линёву пузырящийся кирпично-красный чай. — Вам крепкий?..

После нескольких глотков Линёв разом согрелся. Забытое чувство радости, когда для полного счастья вполне достаточно было тепла, сухости и горячего чая, переполнило его, он откинулся спиной к стене, прикрыл глаза. «Сейчас открою и все пропадёт». Он открыл — все осталось на месте, но...

Только тут Линёв увидел на стенке напротив портрет. Небольшой, в один локоть высоту, без рамки, и даже, вроде, не приделанный к стене, а являющийся как бы её частью, и вместе с тем существующий совершенно отдельно от неё.

Это вовсе не было похоже на журнальную репродукцию. То был именно портрет, непонятным образом впаянный в серую, с застарелыми грязевыми разводами стенку купе.

На портрете изображена женщина. Наверное, лет тридцати. Густые, волнистые тёмно-русые волосы ниже плеч. Просторная белая кофта, с глубоким кружевным вырезом, прямолинейный католический нательный крестик, вольно шнуrowанный корсаж. Левое запястье змейкой обвивают оранжевые коралловые чётки с кисточкой и крестиком. На волосы наброшена серо-голубая накидка с тонким полуосточным орнаментом, немного похожая на фату, она прихвачена сверху высоким, чёрным косяным гребнем. На накидке, прямо над самым лбом — три причудливо выписанных слова. Глаза женщины устремлены как бы поверх его головы, она словно силится разглядеть что-то далеко за его спиной, даже, кажется, нетерпеливо склонилась чуть вбок, словно он ей мешает. Линёв даже невольно шагнул в сторону, поймав себя на том, что думает о женщине на портрете как о живой. А о себе — лишь как о нечаянном соглядатае чужой, неведомой жизни, но к которой он ощутил внезапную необъяснимую причастность.

За её спиной — исполосованное временем красновато-бурое туловище скалы, над нею — выбеленная безоблачным зноем полоса неба. Под нею — безмерная, безмятежная гладь моря. Однако вот что интересно: море, скала, небо не были простым фоном. Они пребывали на картине сами по себе. Они были самодостаточны, не зависимы от женщины, от кого-либо ещё. В какой-то момент ему даже показалось, что он слышит приглушённый гул, как из витой горловины ветвистой морской раковины некогда, в детстве, плеск волны о камни, утробный визг несъятых чаек и бакланов, поскрипывание гальки под босою ступнёй... Всё на картине было, вроде бы, недвижно, и всё, тем не менее, пребывало в скрытом движении, в хаотической гармонии. Кажущееся безмолвие было переполнено звуками. Казалось, стоит отвернуться, и всё там оживёт, наполнится движением, шумом и голосами. Стоит только отвернуться...

Линёв не мог точно сказать, сколько же он стоял возле портрета, будто зачарованный. Портрет словно втянул его в бездонный вневременной просвет. Увиденное не складывалось в сознании, требовало либо объяснения, либо опровержения.

«То, что мы называем искусством, есть лишь отражение отражённого. Лишь тень от тени, отголосок эха, — вспомнились вдруг чьи-то давным-давно читанные строки. — Возьми тысячу зеркал, расставь их под верным углом. И что увидишь ты там, в самом конце зеркального коридора, в тысячном зеркале? Признаешь ли ты увиденное самим собой? Не узришь ли Дявола в туманной той глубине? То-то и оно. Мастер не отражает мир. Мир отразит ремесленник. Дельный или дурной. Мастер *создаёт* мир. Нехоженный, несхожий, любой. Дар мастерства есть Промысел Божий. Ежели Господу угодно указать новый, неведомый путь, он пошлёт озарять этот путь не священника, не богослова, не законника, но мастера и праведника. Запомни: двое держат мир — праведник и мастер. Они порой не ладят друг с другом, это нормально. Но падёт один, и мир не устоит.

И вот ещё: истинный мастер в силах совладать не только с пространством, но и со временем...».

Он подошёл ещё ближе, близоруко сощурился, чтобы попытаться прочесть то, что было начертано на накидке. Почему-то это показалось интересным и важным. Странная надпись, похожая на восточную вязь.

— Уже уходите? — равнодушно поинтересовался помалкивающий доселе юноша. Произнёс всё так же тускло, но, как показалось Линёву, с нотками насторожённости.

— Да нет. Просто хотелось получше разглядеть кое-что на портрете. — Кстати, а как он сюда попал? И вообще...

— Что, простите? — Юноша вопросительно склонил голову.

— На портрете. Надпись на накидке хотел рассмотреть получше.

— Надпись? Какая надпись? Какой портрет? — лицо юноши убедительно изобразило удивление. — Что вы такое говорите?! Где вы это увидели?

— Так вот же! — раздражённо сказал Линёв, кивнув на стенку. И потрясённо замолк: на стене ничего не было. Обычная замызганная серо-голубая стена с грязевыми наплывами. На том месте, где минуту назад была картина ещё слегка маячил световой прямоугольничек в локоть высотой, потом и он пропал.

— Ну? На чём мы остановились, — с улыбкой поинтересовался юноша. В голосе проклюнулась издёвка.

— Пойду я, — раздражённо ответил Линёв. — Пора мне.

— Истинно, истинно! — певуче загомосил юноша и закивал головой. — Причём давно уже. Дивлюсь, как вы раньше этого не уяснили.

— Кстати, — Линёв удивлённо остановился, пропустив его слово мимо ушей, — а где девушка?

— Девушка? — глаза юноши глумливо прищурились, он издал губами какой-то долгий пшикающий звук. — Какая? Я, право, не знаю.

— Ты отлично знаешь, — Линёв почувствовал прилив раздражения. — И я хочу знать...

— Знание есть роскошь. Не всем дозволенная. У званных рот молчком, у незванных — уши торчком. Не в курсе?

— Слушай ты, клоун, — Линёв окончательно вышел из себя.

Однако юноша затрясся от беззвучного смеха, умиротворяюще закивал, сделал странный, будто приглашающий жест. А потом вдруг стемнело...

И он снова стоял возле трамвайной остановки. В кармане плаща настырно заверещал телефон. Звонила Клара. Линёв, с трудом подавив в себе желание сбросить звонок, всё же нажал на соединение.

— Володя! — ликующе прокричала Клара. — Ну наконец-то! Ты где пропал? Трубку не берёшь, на сообщения не отвечаешь. Что происходит вообще?! Ты где?! Дома?! Ты оглох?! Молчишь, как пень!

— Я? — наконец выдавил из себя Линёв, не зная, что ответить. — Я... не дома. Я точно не дома.

— Погоди. Ты пьяный что ли? Этого не доставало! Где шляешься, я спрашиваю! — прокричала Клара плачущим голосом.

— Я? — вновь глупо отозвался Линёв и осторожно обернулся по сторонам. — Сейчас ориентируюсь. Ага. Остановка «Улица Николая Щорса». Это где, вообще, а?

— Какого ещё Щорса?

— Ну того самого. «Щорс идёт под знаменем, красный командир!» Или комиссар? Как попал? Знаешь, это надо обдумать.

— Всё ясно. С кем-то набрался. Значит, Володя, сейчас немедленно вызывай такси. Немедленно! И езжай уже домой. Домой!!! Я через полчаса перезвоню...

— Да, — рассеянно протянул Линёв, поняв, что он действительно не может вспомнить, что произошло минут пять назад до того, как ему позвонила Клара. Какие-то быстро гаснущие обрывки. Такие бывают после утреннего пробуждения: вроде, почти вспомнил, ан нет, выскользнуло из памяти, как из невода и кануло назад, в свои тёмные воды... Вагон. Девушка в синем. Женщина на портрете. Они похожи. Хлыщ какой-то гунявый...

Прошли недели две. Линёв возвращался с работы вместе с сослуживцем Мишей Долгановым, раздражённый и злой. В первую очередь на самого тебя. Давно намечаемый и отрепетированный вплоть до интонаций разговор с гендиректором закончился позорно и глупо. Начал он хорошо и тщательно, но очень скоро сорвался, поскользнувшись на ледяной и удивлённой директорской вежливости, перешёл на нелепый крик и, как всегда в таких случаях, стал мучительно и стыдно заикаться, разевая, как рыба, рот. Тактично предложенный стакан воды вместо того, чтобы вежливо отклонить, грубо выхватил из рук, при этом половина воды выплеснулась на стол, залила какие-то бумаги, он, побагровев, принялся подтирать лужицу носовым платком и в конце концов пролил остаток воды. В общем, хрень полная...

Кончилось все это унижительным примирением, снисходительным похлопыванием по плечу: «Мы погорячились, да? Да, нервы, нервы, что тут поделаешь. На нашей работе свихнуться можно раньше срока. Да вы не расстраивайтесь, будем считать, что никакого разговора не было...»

Но разговор был. Был, чёрт побери! И шёл он о «пятисотке», «Гамме-500», новом блоке, который чуть не вдвое удешевлял изделие, почти целиком его, Линёвском, детище. И вот, когда грянула пора сборки и монтажа, выяснилось вдруг, что старшим группы в Питер едет Женечка Лазаренко, коренастая крутобёдрая шатенка с большими, чуть раскосыми глазами (мой прадед был калмык!), имеющая весьма незаконченное высшее образование и массу разнообразных достоинств. А он, Линёв, не только не был старшим группы, но в группе, кстати, весьма внушительной, вообще не значился, зато был строжайше проинструктирован находиться неотлучно при телефоне, чтоб в случае надобности дать своевременную консультацию. Такие дела.

«Да поймите же вы, Евгения Сергеевна — опытный конструктор, в дело вникла быстро и основательно, кроме того, у неё такие связи повсюду, которые нам с вами

не снились. Ну и — обаятельная женщина, что, заметьте, немаловажно... Причём тут подиум? Скажете тоже — подиум! А вы, Владимир Николаевич, своё дело сделали блестяще, никто ваших заслуг не собирается умалять... Ну при чем здесь мавр! Скажете тоже — мавр! Никто вас не собирается затирать, задвигать. Каждый хорош на своём месте. Но вот *там* нужны именно такие люди. Ну-у, Владимир Николаевич вы же должны понимать. Как нынче говорят, структура момента...»

— Ты не делай вид, что не понимаешь, кто такая Лазаренко, — снисходительно толковывал ему Миша Долганов. — Баба метит в главные конструктора, неужто не ясно? Кому надо, дала, с кого надо, взяла. Дело за малым. Вот ты есть то самое малое. Ты, Володь, попытал бы счастья на этой необъятной стезе. Ещё не поздно. Как говорится, попытка не шутка, спрос не кнут. Когда она выбьет себе главного, а она выбьет, будь уверен, ей не до тебя будет.

— Вот ты и попытай.

— Уж куда мне, с мякинным рылом. А у тебя выйдет, глядишь. Бабы любят неприкаянных. А Евгения Сергеевна и здесь не засидится. Она в столицу метит. А, как говорится, Москва бьёт с носка. Вот она и не миндальничает, прёт напрямки.

Линёв морщился, как от колик, но они с Долгановым были соседи и попутчики и отделаться от него не представлялось возможным, поэтому приходилось выслушивать хихикающую трескотню фискала-переростка, лысого мальчишка, не обретшего на своей скользкой дорожке искомого, но тем не менее, до конца не озлобившегося и до поры безобидного.

Весна, начавшаяся было дружно ещё в марте, в апреле вдруг забуксовала, откуда-то явился дурной и затяжной северный ветер, хлипкая грязь обернулась костляво-ребристыми наростами, с неба повалила сыпучая, белёсая муть. Они шли, по-сиротски съёжившись, Линёв слушал Долганова вполуха и думал о своём, вернее, ни о чем не думал.

### *ТУТ-ТО И ВОЗНИК ВАГОН.*

Он стоял на том же самом месте, будто и не исчезал никуда. Мелкая снежная крупица секла его напропалую с жёстким, безжизненным шелестом, оседала на вспученных стенах мертвенной чешуйкой. Линёв вдруг с изумлением понял, что за все эти дни он ни разу, даже углышком сознания не вспомнил ни о вагоне, ни о тех двух его обитателях. Лишь портрет женщины с накидкой маячил во тьме глазного дна слепым пятном.

Линёв воровато покосился на беззаботно болтавшего Долганова — тот ничего не заметил. Они подошли к остановке, запрыгнули в подошедший трамвай и тут Линёв с воплем: «Чёрт, чуть не забыл!» выпрыгнул вон, оставив за спиной вытянувшуюся от неожиданности физиономию Долганова.

Окно купе проводников было освещено, даже, как будто, ярче, чем в прошлый раз. Линёв обошёл для чего-то вагон кругом, взобрался на ступени и со страхом — а вдруг не откроется — потянул дверь. Дверь открылась, и Линёв, обернувшись по сторонам, нырнул в чёрный лаз тамбура, перемахнул через груды ветоши, уверенно и заученно прошёл по коридору и лишь у самого купе проводников перевёл, наконец, дыхание. «Только змей недостаёт да летучих мышей», — весело подумал он, обернувшись назад и подмигнув в сырую, проржавевшую темноту. Затем он деликатно откашлявшись, постучал и открыл дверь купе.

На днище опрокинутой кружки, потрескивая, горела сально блестящая свеча. На лавках, ссутулившись, сидели двое плохо одетых мужчин, на столике среди хлебных



крошек и перекрученных окурков бугрилась колода карт. На стене так же, как в прошлый раз, была картина. Та же женщина, только, вроде, моложе, и вместо кофты и накидки — синяя курточка с белым меховым воротником...

— Во! — заорал обрадованно один из обитателей купе, с тёмным и плоским, как шаманская маска, лицом, с глубоким шрамом через левую щеку. — Вот и гость, заходи, не бойсь.

— Гуляете? — глупо спросил взмокший от потрясения Линёв.

— Ага! — ликующе выкрикнул плосколицый. — Пьём-гуляем, текёт по соплям. Сядь вот тут — и тебе дадут. Хочешь — картишки раскинем. Вам вальты да тузы, нам — пальты да трусы.

— Во что играете? — криво усмехнулся Линёв, с трудом приходя в себя, — в блэджек?

— Чевой-то? Отродясь не слыхивали. Не, мы в буру. В буру-муру, сыру нору. Сунь пальчик — будет зайчик, сунь ножки — наденешь сапожки да серый кафтан, да пойдёшь в Афган. Будет тебе киношка да цирка, да макинтошка из цинка. Ну как, кореш, сыграем? И нашим, и вашим, не обидим, уважим.

— Спасибо, я на деньги не играю.

— Ну-у, кореш, ты фигну порешь. Какие деньги! Мы — за так. Кому сизы голубицы, кому — чёрны гаубицы.

— Я же сказал — не играю! — резко ответил Линёв.

— Тихо, тихо. Не пыли, дорога, — миролюбиво отступил плосколицый, — вольному — воля. Не тронь волчат, а то настучат. А ты чё сердитый? Обидел кто? Да ты садись, в ногах правды нету, вся правда — в заду. Выпьем штоль за жизнь щербатую?

Линёв неопределённо хмыкнул и сел, плосколицый услужливо придвинул к нему стакан, но он отрицательно покачал головой и стакан исчез. Как-то сам собой, взял и исчез.

— А не хочешь пить, давай я тебе погадаю. Да не бойся ты, мне твои копёшки не надобны, я ж не цыган какой.

И тотчас же колода будто ожила в его руках, с шелестом растворилась, свилась в правильный полукруг, перекочевала из ладони в ладонь, а оттуда овалом выстелилась на столе, задняя карта мягко упала на середину. Это был мордастый и румяный червовый король. Потом вновь начал долгие манипуляции, перекаладывание с места на место, неустанное бормотание: «Ну, картишки, бравы ребятишки, почёт, и честь, говорите, как есть...» конце концов на столике выстроилась замысловатая фигурка, каббалистический знак, напоминающий засушенного тарантула.

— Чудна у тебя жизнь, кореш, — озабоченно бормотал плосколицый, шуря глаза, — старый я волк, да не возьму в толк. Человечек ты, вроде, не злой, но дёрганный, злопамятный, а не мстительный, расчётливый, а не бережливый, жалостливый, а забывчивый, людей наскрозь чуешь, а выводов не делаешь. Невпопад у тебя как-то. Умён, да неразумен. Вся жизнь себя строишь, выстроить не можешь, ни шатко ни валко. Болячки старые любишь расчёсывать, а это вообще пустое дело. Заводной ты, людей любишь пугнуть, а они не боятся, потому как от понтов твоих урон тебе одному. Самой малости тебе не достаёт, а малость эта тебя корёжит и корёжить будет. Теперь насчёт баб. Водится вокруг тебя червовая дама — сама не живёт, тебе не даёт, дурь в башке фистулой свистит, хотя порой дельное может сказать. Дамы червы — все стервы. Без ума, но с гонором. А с гонору — ходят по миру. Ты определись, сама она не отлипнет. А с кем живёшь, тем и слывёшь. Ещё есть дама пик. В стороночке. Так ты её поберегись, она на тебя глаз полóжила. Будет у вас вскорости дорога и дом казённый и зелено-вино. Ты вино-то пей, но дальше — не смей Такие бабёшки — как совы ночные: коготками цоп, до капли выдоят, выцедят да шкурку выбросят.

— Лазаренко, — хмыкнул Линёв, — буду иметь в виду. А что, других дам нету в паранаме? Крестовой, к примеру.

— Крестовая, говоришь? Востёр ты. Прямо дон Педро какой-то. А какая она с лица? Ну примерно хоть.

— Да вот... — замылся для виду Линёв, — вроде этой, — нарочито небрежно кивнул на картину на стене.

— Ха! И кто же это такая?

— А вот это я у тебя хотел спросить. Ты тут, похоже, всё знаешь. Да и вообще, что это за место? То оно есть, то нету его. Одни видят, другие нет. Что скажешь?

— Что скажу? Чудное тут место, вот что скажу. И это слабо сказано. Да ты, как-жись, и сам понял. Ну вроде как сортировочная станция тут. Не станция, конечно. Но по-другому сказать не выходит. Ключётся словцо, да не выклёвывается. Зеркальный кордон? Куда — бог весть. Я там не бывал, и не норовлю. И знать не желаю. Разве что догадки. Только ведь на догадки только дурни падки. Вот Гера, — он мотнул головой в сторону своего глухо молчащего товарища, — он сподобился. А знаешь, кем он раньше был? Ха, доцент, завкафедрой высшей и прикладной математики, Шпагин Герман Витальевич. Его на работу звали в Германию, в Гейдельбергский университет, лекции фрицам читать. Жена — красавица, телеведущая, благотворительница известная, Лидия Бремер! Дочки-близняшки в Москве учатся, в Ломоносовке, загородный дом в Державино с двумя иномарками. По жизни человечком был сухим, прижимистым, малопьющим, суровых понятий, себе на уме. Уж не знаю, как его занесло-то сюда, однако ведь занесло. Вина его какая-то тайная гложет, какая — не говорит. Пропадал где-то недели полторы. Супруга, понятно, шухер подняла. Вскорости отыскался — в подземном переходе на Кольце. С пацанами-студентами играли битлов. Донт лет ми даун! Он на маракасах наяривал и в бубен бил. Прикинь, без пяти минут профессор! Жена его недолго думая в дурку определила. Поначалу, вроде бы, даже помогло. Остепенился. Его даже на работе оставили. Но уж не завкафедрой, ясно дело, под него давно копали коллеги-землекопы. Просто преподавателем. Ага. Только вот, говорят, на его лекции с других вузов сбегались, и не только студенты. Даже иностранцы захаживали. Слушали, рты пораскрыв, на диктофоны писали. Шум был, неужто не слышал? Круто, говорили, в гору пошёл. Революция в математике! Даже на Нобеля прочили. Ага. Только он возьми и снова пропади. На сей раз надолго. Сыскался только через два месяца в городе Алатырь, в тамошнем сизо, без гроша, без документов. Кража продуктов в супермаркете «Пятёрочка». Хотя он даже и не крал, а просто ел прямо с прилавка, не таясь и с аппетитом, и понять не мог, с чего все разволновались-то? Кое-как воротили бедолагу домой, хотя какой ему дом: супруга его белоснежная развод спроворила, а поскольку дом и всё прочее было любовно оформлено на неё, лебёдушку, то остался доцент после развода с комнатой в трёхэтажке под снос по улице Щорса. А он — ничего, всё подписал, не читая. Супруга бывшая нынче снова замужем — стыд не дым, совесть не изжога. За тем самым хлыщом, который вместо Геры в кресло завкафедрой сел. Правда, ненадолго, потому как умел только пальцы топырить, по приёмным шушукать да секретуткам колени шупать. Семя крапивное. Сейчас живёт при лебёдушке альфонсом-утешителем. А Гера нынче ночует где придётся, потому как в комнатёнку свою он мать многодетную впустил по простоте. Пожить на время. Задаром, конечно, что взять-то со вдовы многократной. Он-то их впустил, а они его обратно — нет. Детки-многодетки. Геру сперва во дворе камнями закидали, потом в подъезде стайкой побили до крови и карманы вычистили — лишние деньги — лишние заботы. Дружные такие мальчишки, маму

и сестрёнок любят и защищают. Гера, однако, не пропал. Как в народе говорят, нет машины, так есть спина. Нынче за имущих студюзов курсовые кропаёт по математике, даже дипломные. За прокорм. А как же, задаром ведь и чирей не вскочит. Очереди выстраиваются. Делает быстро, на совесть, берёт копейки. Это если не обманут, а оно — через раз. Порой и хлопчики-гоп-стопщики рисуются. Район-то убитый, безбожный. Однако ничего, выживает. Говорить перестал полгода назад. Перестал и всё, за ненадобностью. И ничего, оказывается, так вполне жить можно.

Так это я всё к чему? А к тому, что шёл бы ты уже по делам своим, странник наш ненаглядный. Как у нас говорят, умён бобёр, да не туды попёр.

— И верно, — кивнул Линёв, поднимаясь. — Пора мне.

— Вот, вот. Пора. И лучше бы тебе сюда не ходить. Для твоей же пользы говорю. Ты хоть сам-то понял, что этот вагон-рыдван не каждому виден? Только некоторым. Стало быть, и ты надобен кому-то. Говорю же — кордон. Потому повторю: лучше тебе сюда не ходить. Не то станешь, как Гера, великим молчалником — башкой тупить да глаза лупить. А то и похуже. Да и я ведь тоже не всю жизнь бродяжкой был. Боевой офицер, сапоги фасонные, звёздочки погонные. Аэродром Баграм, орден «За службу Родине», пенсион как военному инвалиду. Как раньше пелось — родина слышит, родина знает. Как меня сюда занесло, отдельная история, другим не интересная. Мне-то что, мне скоро на переплавку пора. А вот тебе-то к чему это? Не будет там добра, уж верь на слово. Да хоть Геру возьми. Или вот был тут один. Лет двадцать назад. Витя Уланов. Поди не слышал. Вон Гера его знал. Так вот, он художником стал. Он так-то и прежде им был. А потом стал такое генерить, что большие умы за головы хватались да руками разводили. Правда, лично ему счастья опять же не принесло. Но это, брат, печальная история. А кстати, дамочка эта, — он снова кивнул на картинку, — очень на дочку его похожа. Не она, конечно. Дочке-то сейчас, поди к сорока уже. Однако всё равно, похожа. Может, внучка, как знать...

— Ты её знаешь? — перебил его Линёв. — Только давай без этих твоих баек-побасёнок. Просто: знаешь или нет?

— Да ты, брат, завёлся. Стало быть, есть и в тебе что-то. Знаю её, да. Приходит сюда. Не боится, ни шпаны, ни бомжей. А сказать о ней толком ничего не могу. С одной стороны, вроде, уменькая, открытая, душа прозрачная, вся настежь. А на просвет не видать. Слепое пятно. Вот Гера, он бы тебе сказал, пожалуй. Так ведь не скажет. И уж тебе-то его точно не разговорить. Вот так, помог, чем смог.

— А этот, как его, Серёжа? Ну носатый такой, склизкий, как маслёнок.

— А вот про него не надо. То есть, вообще, — его собеседник перестал улыбаться. — Скажу одно: серой от него смердит кромешной. Как хочешь, так понимай. Он ни злой, ни добрый. Стужа, тьма и пустота. Но внимательный. Как паук осьмиглаз. И каждый глаз положенное видит... А засим ступай-ка, братец, с богом. Я и так наболтал с перебором. На-ка вот, прихвати на память. Не благодари...

Он сунул Линёву в руки небольшой продолговатый белый пакет, твёрдый на ощупь...

Возле пустынной, увитой вихрящейся позёмкой трамвайной остановки, он увидел стоящего человека, ссутулившегося, с поднятым воротником и в нахлобученной на лоб шляпе.

— Карим! — обрадованно заорал Линёв. Он впрямь был донельзя рад его видеть. — Ты откуда тут?

— Как откуда, — опешил Карим. — ты ж мне сообщение послал. Вот! — он сунул ему прямо под нос посверкивающую плоскость телефона.

«Подъезжай к остановке шорса очень срочно».

— Ты писал?

— Ну да, получается, так, — неуверенно отозвался Линёв.

— Получается? Слушай, у тебя точно всё в порядке? — Карим вперился в него со свирепой подозрительностью. — Ты вообще-то где был?

— Я? — Линёв принялся удивлённо вспоминать, будто погасшей спичкой шарить в темноте. — Я... Ну да, я ехал с автовокзала с Мишкой Долгановым. Ты ж его знаешь. Потом... решил сойти.

— Это понятно. А зачем сошёл-то?

Зачем? Линёв хотел что-то ответить, но запнулся, будто оцепенев. Нет, а в самом деле, зачем? Никаких дел у него тут нет, знакомых нет, ни черта же никого нет! Он даже об улице этой ничего раньше не слышал. А ведь, он ведь тут уже бывал однажды. Недели две назад. Память возвращалась с капельной медлительностью. Вагон...

— Слушай, может, тебе выпить надо? — Карим по-прежнему не сводил с него тревожного взгляда. — Или ты уже? ... Погоди, что это у тебя такое в руке? ...

Картинка на картоне размером в почтовую открытку. Может, чуть побольше. Коротким махом она, однако, чуть рассеяла плевую какого-то тучного, наносного беспомыслия. На самую малость. Ну да. Диковинный, убитый временем пассажирский вагон, который непонятным образом стоял вот тут, на ржавом рельсовом аппендиксе. Купе проводников с поистине странной парочкой. Портрет на стене, то явившийся, то исчезнувший, — вот оно, главное. Портрет!

Да, это был тот самый портрет. Не открытка, не репродукция. Именно портрет. Только многожды уменьшенный. Кажется, даже на ощупь ощущалась живая, нервная шероховатость некогда нанесённых красок. Живое тепло рук, красок, ткани и дерева...

Женщина с серо-голубыми глазами и тёмными, слегка вьющимися волосами, едва прикрытыми накидкой, такую же серовато-голубой и волнистой, как её глаза, серо-голубые и волнистые. Сквозное окно, даже, как будто ветерком подуло. Неведомо каким и откуда.

— Ух ты, — восхитился Карим, — это откуда ж такое чудо?

— Так сразу и не скажешь.

— Ну это я понял, — пробормотал Карим, не отводя от картинки замороженного взгляда. — Не хочешь, не говори. Мне-то что.

— Да не то чтобы не хочу. Я понять не могу. Мельтешня какая-то в глазах. И в голове. Какие-то люди, разговоры непонятные. Портрет этот. Я тоже не мог от него глаз отвести. Там ещё надпись была. Не по-нашему. Не успел прочесть. На накидке. Видишь?

— Ага, вижу. Это мантилья называется.

— Мантилья? Так это испанка что ли на картине? И надпись на испанском?

— Не, — пробормотал Карим, напряжённо шурясь. — Не на испанском. Это, брат, латынь. «*Mare Et Caelum*». Моря и небеса. Как-то так. Ты эту картинку не теряй, пожалуйста. Очень она меня заинтересовала. Может, дашь мне её потом на пару дней? Я её жене покажу. Что-то она мне про это рассказывала. Какая-то диковинная история — про художника. Прямо триллер какой-то. Если ты не против, конечно.

— С чего против-то. Слушай, ты, вроде, что-то такое о выпивке толковал. А? По моему, самое время. Как там по-латыни — *Ergo bibamus?*

— Бибабус, бибабус, — рассмеялся Карим. — Айда уже. У меня как раз возле магазина машина припаркована...

Прошло ещё две недели. Апрель подходил к концу, а весна всё никак не могла наступить. Жалкие, всхлипывающие оттепели сменялись мстительными заморозками, а там и вовсе валом повалили бессильный водянистый снег.

Линёв возвращался из командировки, в которой проторчал почти неделю. «Пятисотку» наконец собрали, но при том запороли дорогостоящую импортную линию, что само по себе скверно. Авторского свидетельства Линёву не выдали, что само по себе паршиво, но и Лазаренке его тоже не выдали, и «пятисотка» стала продуктом коллективного творчества. Линёву пообещали «заслуженного» и приличную премию. Правда, Лазаренко вот уже два года как Заслуженная, и премию она получит как минимум раза в полтора больше как старший группы, что само по себе противно.

В конце был, как водится, маленький банкетик, где все было в точности, как в предсказаниях плосколицего пророка: и казённый дом — коттедж на «Петергофских дачах», и зелено-вино, и снова казённый дом с дамою пик. Вино Линёв пил, а дальше — не тянуло. Тем и нажил себе врага, изворотливого и мстительного, что само по себе нежелательно.

Наскоро перекусив в вокзальном кафе, потому что в доме его ожидал лишь сиrotливо урчащий холодильник, Линёв вызвал такси. Но чёртово такси на полпути вдруг круто занесло на облепленном льдистой чешуёй повороте, машина, дважды развернувшись, с визгом ударило задним капотом о заграждение, водитель проклиная всё на свете велел ему вылезать, потому как машине пипец и он за себя не отвечает, и Линёв, покорившись судьбе, побрёл, пригибаясь от снежного смерча, вдоль трамвайной линии.

### *ТУТ-ТО И ВОЗНИК ВАГОН...*

Он весь был залеплен снегом и походил на загипсованную конечность. Опять чёрт занёс в это гиблое местечко. Как будто специально. Или не как будто? Да неважно. Не здесь и не сейчас... Посмотреть разве что, есть там сегодня свет или нет? Есть. М-да. Ну и что? Опять, значит, бичи собрались. Бомжики-побродяжки. Так и пусть себе сидят, мне-то что с того. Чудес не бывает. А если что мерещится, так плюнуть и забыть...

Он вдруг заметил, что уже несколько минут ходит взад-вперёд у проклятого вагона и бормочет под нос.

И вот тут заслуженный изобретатель злобно засмеялся, ухватился за поручень и, устало матерясь, втиснулся в тамбур.

Дверь в купе проводников была чуть приоткрыта, и на полу была видна едва заметная, ломаная полоса света. За дверью было тихо и Линёв, сглатывая мелкую дрожь, толкнул дверь...

В купе не было никого. Только стакан в подстаканнике с недопитым чаем да горка конфет-подушечек. И ещё — синий вязаный берет на вешалке...

Было однако светло, хотя не горели ни лампы, ни светильники. Свет, желтовато-розовый, шёл со стены. Не свечение, не мерцание, а свет. На стене, как и в прошлый раз была картина.

На картине — звёздное небо. Просто звёздное небо. Только много крупнее, словно не с Земли увиденное. А откуда-то — оттуда... И в центре — звезда. С грецкий орех величиной. Такая же неровная, бугристая, словно вспухшая от недуга. Когда-то в детстве, на ночной рыбалке с отцом на Меше они видели шаровую молнию. И сейчас, на краткий миг он испытал тот же сковывающий страх, смешанный с восторгом, как тогда, в резиновой лодке, много лет назад. «Казалось, вырывается и плачет чужая, непонятная душа, спелёная силой в плотный шар размером с невесомый детский

мячик». Отец сказал тогда, выйдя, как и он, из оцепенения: «А ведь вот так, наверное, рождаются и гибнут миры. Раз, и нету. Шаровая молния — это как солнце в мини-атюре. Просто время для всех по-разному течёт». Ему это запомнилось, потому что отец человеком был сухим, малословным, не переносил всякого рода отвлечённых умствований. А тут вдруг прорвало. Он говорил, сбивчиво, запинаясь, что-то о круговороте жизни во Вселенной, о том, что звёздное небо — это письма Бога, что каждое созвездие есть тайный иероглиф, и если понять их значение и последовательность, можно познать сокрытый смысл бытия... Что-то ещё, уж вовсе непонятное, об атомах и планетах... А потом, уже под утро он взял с него слово, что он не расскажет о том, что видел, и о том, что услышал, маме и бабуле. И он тогда понял, детским разумом, что об этом и впрямь лучше не рассказывать никому.

...Однако ведь главное — цвет. Линёв с удивлением вспомнил, что, как и тогда, много лет назад, в мокрой от дождя лодке, он не в силах понять: а какого цвета она, эта звезда? Нет, не белая, не жёлтая, не оранжевая, не красная. Цвет изображённого светила вообще не имел ничего общего ни с одним из знакомых глазу цветов. Даже приблизительно, даже оттеночно. И звёзды, туманистая дымка, и даже пространство вокруг них были переданы в цветах, решительно не передаваемых на человеческом языке. И все попытки дать этим цветам и оттенкам какое-то определение провисали в пустоте.

Бездонная, холодная Полярная Полюнья Вселенной стала вдруг непостижимо, непереносимо близкой. Настолько, что ему вдруг стало нечем дышать, словно вселенский межзвёздный, мертвенный вакуум играючи всосал его в себя. На мгновение, не более. Дал вдохнуть глоток холодной, кристальной безбрежности и щадяще выпихнул прочь...

Вернувшись, он застал в подъезде Клару. Она сидела на подоконнике и дремала. Линёв громко кашлянул, она встрепенулась и её лицо из бессмысленно сонного скривилось и стало плаксивым.

- Володинька, — всхлинула она, — все кончено!
- Так уж и кончено. Проходи, что ли?
- Кончено! — Клара энергично замотала головой. — Я порченная и несчастная дура.
- Так уж и несчастная. Да заходи ты, сейчас соседи сбегутся, они обожают глазеть на порченных дур. Что опять приключилось?

Разразилась Кларина истерика, из которой Линёв понял, что Кларин капитан ВВС оказался жалким ничтожеством. Говорил, что, мол, брак у него фиктивный! А она-то верила! Как тупая чмошница. А выяснилось, что брак-то нифига не фиктивный, а вполне себе эффективный: бабёшка его фиктивная ребёночка ждёт. Двенадцатая, блин, неделя! А ей, Кларе, — досвидос? Дружеский пендель? Она отдала ему всю себя и, кажется, уже подзалетела, да, но она, вот увидишь, нарочно ничего с собой делать не станет, (не дождётся, кобель!) а вот родит и будет воспитывать малышку, а от него, от капитана-врунгеля, копеечки не примет, пусть катится к своей чучундре крашеной, бухгалтерше из ЖЭУ, с её тупым пузом, прости господи, а о ней, благородной Клариссе, пусть забудет навеки! ... Кстати, что это за фифа на той фотке? А?! Не, ну просто интересно... Пацанку себе завёл на досуге, котик игривый?

— Это репродукция, — воодушевлённо ответил Линёв. — Художник какой-то. Забыл, кто. Испанец, вроде. Дама а мантилье. Как-то так.

— В мантилье?! Ты рехнулся? Какая мантилья, дружок, какая дама?! Нашёл тоже Карменситу в синей тужурке кукморского пошива! Кстати, это не её ли беретик у тебя

на прихожей мнётся? На простоту потянуло? Ну прямо не жизнь у тебя, а сплошная лабуда.

Линёв вздрогнул, схватил картинку со стола. На ней была та самая девушка в синей куртке с белым меховым воротником и в синем берете с белыми ромбиками...

— Ну-кась? — Клара буквально выхватила у него из рук картинку. Долго вглядывалась, то приближая вплотную, то отводя в сторону.

— М-да-а, — протянула она после долгого молчания, — Такого я ещё не видывала. Откуда это у тебя, даже не спрашиваю, ибо знать не хочу. Влезать в то, что выше моего разума — на себя проблемы нахлобучивать. И ещё: насчёт пацанки я поторопилась. Девушка не проста. Мне, тёртой стерве, её не раскусить со всем моим долбаным жизненным опытом. Я даже подумала: нету на свете ничего бесполезней, чем этот самый жизненный опыт. Пресный такой, жилистый. Тьфу!

Клара снова замолчала. Затем словно встрепенулась.

— Да плевать мне на твоих товарок, не тушуйся, — великодушно махнула рукой Клара, видя его ошарашенную физиономию. — Но вот скажи, мне-то что делать, а?! Госс-пади!!! Володинька, миленький, родненький, единственный мой, ты один меня понимаешь! Ну войди же в моё положение...

Ничего другого не оставалось, как войти. И он вошёл. Раза два. Клара после этого успокоилась и заснула, а Линёв пошёл ставить чайник и прибираться на кухне. Но не успел он поставить на плиту заполненный доверху чайник, как застенчиво дзынькнул звонок. Линёв открыл дверь и увидел бравого капитана.

— Простите, пожалуйста, Клара Валерьевна у вас? — спросил он, изнемогая от смущения.

— У нас, у нас, — закивал головой Линёв пропуская дорогого гостя, — У кого ещё ей быть! Klarissa! А это к тебе!

По торопливой и яростной возне он понял, что Клара проснулась и судорожно одевается. Вскоре она высочила в коридор, хоть и без чулок, но с достоинством и с сумочкой через плечо. «Владик? — лицо её высокомерно вытянулось, — и что тебе угодно? Имей в виду, я...» Но Владик не дал ей договорить, ибо ему было угодно сообщить, что он не может и не желает идти по жизни иначе, как рука об руку с Кларой Валерьевной. Не в силах более сдерживаться, Клара с рыдающим воплем бросилась Владику на шею.

Потом они пили кислый и тошнотворно тёплый «Рислинг», принесённый предусмотрительным капитаном за пазухой штатского пальто, Клара снова опьянела, висла на Линёве, лезла целоваться, а капитан смотрел на них с доброй улыбкой дауна и нёс какую-то пургу о том, как они будут счастливы все втроём. А Линёв вдруг подумал, что это уже никогда не кончится, что вечно будет к нему являться хохочущая и рыдающая Клара, только теперь уже без подружек, но с капитаном, и вот только вагона с освещённым окошком, никогда уже не будет, потому что власти разберутся наконец, примут меры и он исчезнет навсегда.

Уходя, Клара, бесцеремонно вытолкнув капитана за дверь, влажно прошептала Линёву на ухо: «Слышь, Линёв, ты эту Карменситу найди. Не найдёшь, всю жизнь себя клясть будешь, помяни моё слово. Не факт, что она тебя счастливым сделает, совсем не факт. Но что забыть её у тебя не получится, это уж не извольте сумлеваться. Пока, горемычный»

Когда шатающаяся от счастья парочка наконец ушла, Линёв вернулся на кухню. Там как-то непонятно воняло и Линёв понял, что перегретый кипяток выплеснулся и залил газовую горелку. Он выключил газ, кинулся открывать форточку и вдруг остановился у подоконника, на котором царил привычный холостяцкий



бардак — месячной давности газеты, тощий, взъерошенный кактус, твёрдые, как пемза, куски хлеба. Он сел и, не обращая внимания на тошнотворный дух, уставился на исписанное стыллой клинописью окно, глядя, как хлещет по стёклам сырмятная снежная камча. Вспомнил вдруг что в Питере ему презентовали бутылку настоящего португальского портвейна «Dom Jose». «А вот и кстати», — печально подумал он и выпростал из сумки роскошную бутылку с румяным, остробородым португальским мужиком в синей треуголке на рыжеватых буклях и роскошным кружевным жабо.

И тут в дверь вновь позвонили. Коротко и уверенно. «Карим!» — обрадованно подумал он и, торопливо распахнув форточку и дохнув уличного воздуха, пошёл открывать. Звонок повторился, на этот раз нетерпеливей и требовательней. «Успеешь!» — заорал он и отворил, на всякий случай убрав бутылку на тумбочку в прихожей.

В дверях стояла девушка, её синяя куртка была покрыта полупрозрачной снежной пенки.



— Знаете, — я как-то последние дни разучился удивляться. Как-то многовато удивительного. Однако спрошу: как же вы меня нашли? И вообще...

— Я вас и не искала, — девушка глянула на него с удивлённой улыбкой. — Это же вы хотели меня видеть. Ведь так?

Она кивнула на лежащий на столике в прихожей синий берет с ромбиками.

— Ну... да, — неуверенно протянул Линёв. И тотчас, спохватившись: — То есть, конечно, да. Хотел. Я ведь даже приходил туда, в этот... ваш вагон.

— Он не мой, — девушка, нахмурившись, покачала головой. — И его нет, и больше не будет.

— Не будет, — повторил Линёв. — А не будет так и не будет. Но ведь ты-то будешь? А?

И тут Линёв почувствовал вдруг, что слова его звучат как-то уж очень развязно и пусто, этаким воркующим, упитанным баритоном сластолюбивого холостячка. А ведь с этой девушкой надо говорить совсем иначе, без игривого суесловья, без остропок и фамильярного тыканья. Прямо и без околичностей. Как на языке глухонемых. Да, он однажды видел глухонемую парочку на автобусной остановке, они изъяснялись без словесной шушеры, какими-то невесомыми жестами, мимикой и простым сиянием глаз. «И тени их качались на пороге...»<sup>1</sup>

— Не знаю, — девушка печально улыбнулась и развела руками.

— Ну хорошо. А всё-таки скажите, *что* это был за вагон. Откуда взялся, куда пропал? Почему не все его видят? Это вы можете сказать?! Не можете. Ладно. А этот ваш спутник. Ну тот, носатый.

Девушка вдруг сцепила ладони и быстро замотала головой, будто отряхивая с себя что-то.

— Всё, нету никакого спутника. Нет! Он чужой. От Недобра. Я вам даже хотела это сказать тогда.

— Да, пожалуй, — он вдруг вспомнил. — От недобра. А вот это?

Он вынес из гостиной ту картинку из вагона.

— А вот это кто? И откуда? Это хотя бы вы можете сказать?

Он успел заметить, что на картинке вновь была та женщина в серо-голубой мантилье. Ничуть тому не удивившись.

— А вот это как раз могу, — девушка рассмеялась облегчённо и радостно. — Это — «Портрет Каталины Вальдес». Не знали про такую? Это легендарная возлюбленная Летучего Голландца. Уж про него-то слышали, наверное?

— Ну да, как же. *Mare Et Caelum*. А кто автор? Кто-то из голландцев того времени? Семнадцатый век?

— Семнадцатый? — девушка снова рассмеялась. — Вот и нет. Век-то как раз нынешний. Хотя теперь уже, пожалуй, прошлый. Это художник Виктор Уланов. Жил, между прочим, в нашем городе. Вы, наверное и не слышали про такого?

— Нет, — сокрушённо развёл руками Линёв. — А вы с ним знакомы, или просто понаслышке?

— Вообще-то он мне приходится дедом с маминой стороны. Но я его не видела, он умер, когда я ещё не родилась. У него было всего тридцать две картины. И три пропали во время пожара. «Звезда Бетельгейзе», «Портрет Каталины Вальдес» и ещё — «Поле и ветер, скифская песнь». Их почти никто и не видел. Они остались только в памяти. И ещё — *там*. Там ничего не исчезает, всё остаётся.

<sup>1</sup> Строка из песни Булата Окуджавы

— А вы знаете, что это испанская сеньора на картине очень похожа на вас?  
— Конечно, знаю. Дед же писал её с моей мамы. А мы с ней очень похожи. Так все говорили.

— Вы говорите — звезда... Да! Я вот только что вспомнил! Там ещё была звезда. Такая особенная.

— Бетельгейзе! — Глаза девушки восторженно вспыхнули. — Это да! Это тоже его картина. Может быть, самая удивительная. Мама рассказывала, что на неё нельзя было смотреть подолгу. Что в этой звезде есть какая-то небесная тайна, а в картине — её разгадка...

— Погоди. Но ты же только что сказала, что картина сгорела на пожаре. Тогда откуда она там, в этом вагоне? Или это всё копии? Я на ты, если ты не против.

— Не против. Нет, не копии, и не подлинники, не подделки. Тут другое. Погоди, не перебивай. Вообще не перебивай, даже если тебе покажется, что это всё бред, ахинея. Так вот, в том вагоне есть ещё одно купе, ты его не заметил, оно с другого конца. Гера его называет Чёрная келья. Потому что его, купе, как бы нет. В вагоне девять купе. Так оно должно быть. Но. Есть ещё одно, десятое. Его с улицы не видно, хотя в купе есть окно. Так вот: есть купе, есть окно, а с улицы этого окна не видно. Чудно, правда? А дальше ещё чудней. В том купе нету ничего. Только зеркало в полстены, мутное, треснутое. В этом зеркале каждый может увидеть себя. Увидеть в любое время жизни, кое пожелает. Можно увидеть то, что ты видел в младенчестве, увидеть твоими же тогдашними глазами. Или глазами тех, кто был рядом. Или увидеть и услышать то, что было за твоей спиной. Ничего загадывать не надо. Оно, зеркало, само покажет то, что тебе хочется увидеть, даже если ты сейчас боишься это увидеть. Многие приходят туда, у каждого что-то своё. Кого-то совесть мучает или вина, кто-то в прошлом разобратся хочет, кто-то будущее понять, кто-то жизнь свою хочет распутать. У всех всё по-разному. Некоторые счастливыми выходят. Но это редко, почти никогда. А некоторые — как Гера — жизнь выворачивают наизнанку. Андрея война не отпускает. Геру — Агнесса. Это девушка-художница, он её когда-то бросил, чтобы на своей Лидии Павловне жениться. А она, Агнесса, беременной была. Он, правда, не знал, да теперь какая разница. Я вот туда пришла чтобы папу найти. Но это отдельная история. Так вот, Гера сказал: иллюзия всезнания опасна, она душу опустошает. Может свести с ума, даже убить. Или сделать управляемой игрушкой. А сегодня он мне сказал: тебе ещё не поздно уйти отсюда. Я и ушла. Совсем... Ты ведь что-то хотел спросить, да?

— Да. А вот эта самая «Скифская песнь», — Линёв говорил нарочито небрежно, дабы скрыть невесть откуда накотившее волнение, — это, вообще, что за картина такая?

— Ну это вроде как диптих. Две картины — «Виденья грозы» и «Скифская песнь».

— Ну и что там? Скифы? С раскосыми и жадными глазами...

— Очами. Нет. На первой — степь перед грозой. Поле и ветер. Волнами. А на второй — улица. Просто городская улица. Старая, двухэтажная. Дворы, палисадники с мальвой, рябиной и сиренью, мостик через ручей, дощатые голубятни, жёлтая квасная цистерна. И ещё — женщина. Немолодая, высокая. Она...

— В голубом сарафане и в белой косынке?

— Да, — девушка поражённо округлила глаза. — Ты видел эту картину?! Когда?!

— Не картину. Улицу. Она называется «Ветряная». Так?

— Так, — еле слышно отозвалась девушка. — Вот почему тебя туда потянуло. Когда это было?

— Очень давно...

[Скифская песнь. Радужный несмываемый промельк, навечно вмурованный в глухую нишу. Она приходила в сны. Вернее, была в этих снах мгlistым фоном. Иногда он подходил к некоему межвременному стыку, почти физически ощущая его, но не переступал его, хотя и не было никаких препятствий. Некий голос увещевал его, мол, нету там ничего, лишь разруха, прах и нежить.]

«За все дурное, никчёмное надобно платить. Лишь доброе даётся задаром». Фраза, брошенная вскользь той женщиной в белой косынке, поначалу-то показалась смешной и надуманной...]

И тут в дверь позвонили снова. «Соседи», — обречённо подумал было Линёв. Но то были не соседи. То были Карим и Яшка.

— Здорово! — гаркнул Яшка прямо с порога, — с днём ангела. Что, не ожидал?! Хе-хе! Кстати, пока не забыл — есть бесподобный анекдот: летят в одном самолёте чукча, еврей и негритянка. Ага. И больше никого. И вот негритянка...

Однако, увидев девушку, он потрясённо замолк.

— Ну что же вы? — девушка рассмеялась. — Рассказывайте дальше.

— Э-э. Да там... видите ли, — замялся Яшка, не сводя с неё потрясённого взгляда.

— Право, не стоит, — деликатно подал голос Карим, — пошлый, мужланский юмор. Случается порой между холостяками.

Он обстоятельно кашлянул и скосил на хозяина пронзительный взгляд, что означал: нам сматываться или как?

— Или как, — успокоил его Линёв, — заходите, коли уж припёрлись среди ночи.

— А позвольте, однако, уже представиться, — Яшка с достоинством вскинул плохо выбритый подбородок. — Яков Ефимович Эфроимсон. Но для вас — просто Яша!

— Это очень хорошо, что вы пришли, Яша, — девушка печально улыбнулась. — Мне кажется, ему не надо сейчас оставаться одному.

— Конечно хорошо! — бурно согласился Яшка. — Ещё бы не хорошо! Да и как же мы могли не прийти, когда непременно надобно прийти. Запомните, девушка: ежели в этом здании горит свет в угловом окне четвёртого этажа, это значит: смело можно заходить в любое время дня и ночи.

— Ну это, ты, положим... — вяло пытался возразить Линёв, но Яшка не дал ему договорить.

— И потом, что значит — оставаться одному? Разве вы собираетесь нас оставить? Не верю! В день его рождения!

— Ага. Только день рождения у меня вообще-то завтра, — чтоб ты знал.

— А завтра, чтоб ты знал, уже настало! — торжествующе заорал Яшка и захохотал. Часы и впрямь показывали три минуты первого. — Виват! Романсы и чечётка! Эй, может, ты уже представишь даму, болван?

И он замер, весь обратившись во внимание. Установилась пауза.

Девушка рассмеялась.

— Вы не удивляйтесь. Он, действительно, не знает. Меня зовут Яна. Я вообще-то только на минутку. И мне уже пора уходить.

— Яна! Боже мой! Но как же романсы и чечётка?!

— Яша, так это вы поёте романсы? — спросила Яна.

— Э, нет, романсы поют они, — Яшка небрежно указал на Карима и Линёва, — Когда легковерен и молод я был. Хе-хе. Но! Я танцую чечётку. Чечётку, сеньорита! А между прочим, многим нравится. Правда, не всем, — он вновь скептически покосился на Линёва.

Линёв взял обоих в охапку и затолкал на кухню. «Слушай, чем воняет в этом доме?» — слышалось оттуда Яшкино брюзжание.

— Яна, — ты мне что-то хотела сказать? — спросил он, физически ощущая холодную силу неотвратимого течения, которое уже начало размывать случайный, наносный песчаный островок, ибо он был слишком крохотным и случайным, чтобы существовать долго.

— Мне показалось... мне показалось, тебе нужна помощь, — вдруг выпалила Яна после долгого молчания. Хотела добавить что-то ещё с тою же непоколебимой уверенностью, но растерянно осеклась и смолкла, глядя на него с тревожным ожиданием. — Это не так?

— Пожалуй, что так, — невесело рассмеялся Линёв. — Пожалуй, как никогда ранее. Ну а тебе? Нужна?

— Да! — обрадованно выпалила Яна. — Ещё как! Вот ты спросил, как я тебя нашла. Вот тут всё просто. Мне Гера объяснил. Откуда знает, как тебя найти? Да Гера вообще всё знает. Он как-то говорил: на любой вопрос можно сыскать ответ, главное, вдумчиво выслушать и в правильном порядке выстроить цепочку сопутствующих вопросов. Так вот, он сказал: он может помочь. То есть, ты.

— Гера? Но он ведь, вроде, не разговаривает? Я так слышал.

— Так это он с тобой не разговаривает. А со мной ещё как разговаривает! Знал бы ты, какое удовольствие с ним разговаривать! Он же понимает с полуслова. Но не перебивает. Иногда говорит очень смешно, но сам никогда не смеётся, даже не улыбается. Даже мне. А так-то, в основном молчит, да.

— Ага. Зато другой говорлив. Журчит себе. Как вода в бачке.

— Ты о ком?

— Ну такой, со шрамом.

— Вот зря ты так. Андрей не злой вовсе, хоть страшный из себя и говорит чудно. Знаете, он однажды Геру спас. От шпаны. Они его выследили, когда он деньги получил у одного именитого профессора из Академии наук. Хотели избить и деньги отнять, а Андрей увидел, вступился. Хоть их было пятеро. Одному даже челюсть сломал. А тот заявление в полицию написал, что на него напали и изувечили. Андрея посадить должны были запросто. И посадили бы запросто, но следователь, как и Андрей воевал в Афганистане. Так вот следователь выяснил, что, оказывается, тот, кому Андрей челюсть поломал, — сынок как раз того профессора, всенародно прославленного. И ещё он нож нашёл, который сынок под шумок в канавку сбросил. А то ведь в полиции уже по полочкам доказали, что хворый инвалид без одной ступни первым упал на троих здоровенных парней. Даже свидетели сыскались. Но запахло скандалом: учёный-то с мировым именем, орденосолец, член какого-то большого президиума, а тут выплыло, что монография от корки до корки его куплена за гроши у бомжа. Короче, делу хода не дали, сынка, конечно, отмазали. Монографию на государственную премию выдвинули — науке ведь нужны новые горизонты. Но зато Андрея отпустили с миром, вроде как, простили. Ступай и впредь не грешни... Ты, однако, извини, я всё болтаю. Наверное, мне уже пора. Верно? Я уже себя не в своей тарелке чувствую.

— Неверно. Самое лучшее, что ты сейчас можешь сделать, так это не уходить. Только не говори, пожалуйста «это невозможно». Во-первых, ещё как возможно, Во-вторых, уже поздно. В-третьих, у меня действительно день рождения. В-четвёртых, я почему-то панически боюсь тебя потерять, и я это только что понял...

— Чтоб мне век не видать родного Мелитополя, — произнесла протиснувшаяся в дверь Яшкина кудлатая башка, — если у этого старого жмота нет ничего выпить!

— Почему же нет, — ответила Яна, нерешительно расстёгивая куртку, — я точно знаю, что у него есть вино. Красивое и иностранное. Итальянское?

— Португальское, — кивнул Линёв, — портувейн. Называется «Дом Жозе». «Ос вињос до Порто».

— Боже ж мой! Так и тащи уже сюда своего дона Жозе из оперы Бизе. Буэнос ночес, кабальерос! Вамос, как говорится, по чарке-чародейке. А то уже нутро топорщится, а Германа всё нет...

## ЭПИЛОГ

Утром наступит весна. Она вообще-то давно уже наступила, но именно сегодня наступит по-настоящему. И этот нереально белый снег, опутанный телеграфным пунктиром следов, исчезнет, словно и не было его, вместе со следами. Следы уже сейчас теряют форму, заполняются тёмной водой, превращаются в бесконечные точки-тире, то разбегающиеся далеко в стороны, то вновь сливающиеся воедино.

Чай с подушечками был великолепен, а «Дом Жозе» на вкус неотличимо напоминал старый, добрый «Агдам». Войдя наконец в кондицию, Линёв и Карим красиво и строго исполнили романс «Воссоздай, повтори, возверни...», а Яшка под гитарную «Кукарачу» выдал умопомрачительную чечётку. Он был в ударе и невесть сколько проплясал бы, если бы не явилась вдруг разъярённая соседка.

Яшка и Карим уйдут уже под самое утро и ничуть не удивятся при виде голого, блестящего, как антрацит, асфальта.

— Ну что же, в конце концов все романтические истории должны заканчиваться банально и незатейливо — важно сказал Яшка, кивнув на погасшее угловое окно четвёртого этажа. — иначе они рискуют перебродить и скиснуть. Да, кстати, «Скифская песнь» ... Откуда это? Не помнишь?

Карим промолчал, лишь неопределённо пожал плечами.

— Зато я помню. У меня ведь была своя скифская песнь, — печально сказал Яшка. — После третьего курса мы ездили на раскопки в Ольвию. Это нынче на Украине. Ой, счастливое же время! Может, самое счастливое, кое мне выпало. Там была такая девочка, Лиля Романец. Из Луганска. М-да, и где-то она сейчас? Песенки пела под гитарочку. На гитарочке-то она так себе играла, если честно, три с половиной аккорда. Ты вон и то получше. Зато пела — волшебно. Просто-таки зажигательно. Могла, как ангел, могла, как чёрт! Так вот, у неё была вот эта самая Скифская песнь! А хочешь, спою? Я, правда, не всю её помню...

И, не дожидаясь ответа, он остановился, вскинул голову, раскинул руки да и взревел во всё горло:

Я поеду в Херсонес, в Херсонес,

Там продам гнедого,

А потом — в кабак залез, в кабак залез,

Взял себе хмельного!

Выпью критского вина, эх, вина,

Не смешав с водою,

Буйну ночьку проведу, эх, проведу,

С гетерою младою!

Длинная такая песня, мы её потом, бывало, всем курсом горланили, на лестнице, вся общага сбегалась послушать.

«Акинак мой, акинак, акинак.

Конь ты мой буланый.

Пропадёшь, ты, как дурак, как дурак

коль не будешь пьяный!»

А уж любовь-то какая была! Ух! Короткая, всего-то неделя. У неё были потрясающие, невиданные в то скупое время дымчато-голубые очки и густая рыжая чёлка. Как у пони. Я ей так и сказал, представляешь? Думал, обидится, пошлёт. А ей понравилось. Пони! Прощались слёзно и обильно, адресами, ясно дело, менялись, да какой в том резон. Жизнь пошла волчком, одним бочком, другим бочком. То белым, то синим, то красным, то разным. Всё predetermined. Как сказал поэт, «Никогда не придёт Лилит, а забыть себя не велит...»<sup>1</sup> Надо помнить всех. Всех. И в первую очередь тех, кто о тебе забыл. Что, не так?!

А Карим не ответит. Потому что у него была своя Скифская песнь. Тогда, нестерпимо давно, у него была эта Песнь, дикая, торжествующая, вольная, недопетая. И он-то знает сколь бессмысленно пытаться нащупать или просто разглядеть то неуловимое свечение, что, коротко поманив, растворилось в сырых апрельских закоулках. И остаётся только неторопливо размышлять о счастье и любви, смотреть, запрокинув голову, на тёплое и звёздное, почти майское небо, отыскивая в звёздной толчее удивительную, радужную звезду Бетельгейзе.

---

<sup>1</sup> Из стихотворения Вадима Шефнера.

